



Е. ПОСЕЛЯНИН

Религиозная эволюция г. Розанова

(по поводу книги «Уединенное»)

Странный писатель, странная судьба.

И труднее всего — объять его вполне, проследить логическую нить.

Ненавидеть то, что любит, и любить то, что ненавидит, — проклинать, и сейчас же то же самое благословлять, — трепетать от ненависти и чрез день перед тем же сладко плакать и умиленно вздыхать...

Г. Розанова иные считают заклятым врагом церкви¹. А между тем это глубоко религиозная душа. И вникнуть в суть одного из крупнейших раздвоений этой раздвоенной, расстроенной, расчлененной души очень любопытно.

Г. Розанов в личной своей жизни был среди многих других людей глубоко, болезненно ранен одним из церковных процессов. И то, что его мучило, довело его до озлобления.

Вспомните захватывающую сцену из «Le Divorce» Bourget², где об стену «non possumus» * католического абсолютизма бьется оскорбленная, смятая неудачным браком душа, которой развод вернул бы жизнь, счастье и солнце — и вы поймете...

Убившись, так сказать, об один из выступов церкви, Розанову, по-видимому, показалось, что он ненавидит всю церковь.

Но ведь то люди и законы, писанные людьми же. Ко всей же церкви у него, в сущности, было странное, сложное чувство: любовь, мучительная для самого и мучающая предмет любви.

Да и в том, что он в церкви, по-видимому, ненавидел, он был непоследователен.

Розанов с виду — враг монашества. Ну, хорошо. Из этого следует, что особо яркие воплощения монашества должны быть ему

* запрет (лат.) — формула папского отказа на требование светской власти.

особенно ненавистны. Но это «следует» для всякого другого писателя, кроме Розанова.

А вот Розанов из Сарова³, от раки старца Серафима, пишет строки захватывающие, волнующие, напряженного религиозного чувства: вся душа его растекается там в нежном умилении. Он же чертит поэтический, одухотворенный образ оптинского старца Амвросия⁴, которого он сам живым не видел, а лишь слышал о нем от близкого ему лица.

Как объяснить?

Он не может стать на точку зрения одного из предков героя «Медного всадника»:

Андрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимнился Печерской⁵.

Монашеский клубок представляется ему издали мечом, занесенным над семьей.

А вот там, на месте, где все семьяне, — и старцы, и молодые, и те, чье сердце впервые расширяется любовью — ищут себе поддержки: он чувствует там не меч, а ласку, направленную на всю широту жизни, греющую и эту семью, и падает, и благоговет, и целует народные слезы (тоже непостижимый и даже физически невероятный, чисто розановский прием), проливаемые у этой раки Серафима Саровского...

И если б эти отзвуки сердца его были редки! Но они так часты, что самые верующие, но наблюдательные люди, даже помня все буйственные слова г. Розанова, должны были, думая о нем, мысленно спрашивать его библейским вопросом: «Наш ли еси ты или от супостат наших?»

* * *

Ему казалось порой, что в какой-то неистовой радости он рвет белоснежную ризу церкви. Но через несколько минут он мог бессознательно и жадно целовать эту ризу... И против этой привязанности к церкви, соединенной с чувством ополчения против нее, он сам был бессилен.

Заслуживает особого внимания та резкость, раздраженность, с которою г. Розанов обрушивается на лиц, легкомысленно и поверхностно решающих религиозные вопросы.

От этих лиц Розанов отличается тем, что все, что он сам говорит о религии, все это у него выстрадано, ему досталось дорого и болезненно.

Теперь же, когда религия в сравнительной «моде», о ней толкуют многие, совершенно лишенные религиозных переживаний, ею не страдавшие, не смотревшие в небо то с благословениями, то с проклятиями, не искавшие Бога со скрежетом зубным, — говорят о ней округленные фразы, что-то мурлыкают, бесстрастно и самодовольно, напоминая пшютов, усевшихся в «баре» на высоких стульчиках и размахивающих ножками в бланжевых чулочках.

И подобные люди или самоуверенные, с кондачка, отрицатели страшно раздражают г. Розанова.

В этом у него так часто встречаемое в общежитии чувство: мы считаем себя вправе бранить все, чем мы в душе дорожим; судим это, рядим... Но попробуй посторонний побранить то же... О, как мы тогда огрызнемся!

И как ополчился Розанов и на Луначарского, и на Л. Андреева за его «Иуду»⁶, и на других.

* * *

Отношение Розанова к церкви прекрасно выразилось названием вышедшей лет семь назад его книги «Около церковных стен».

Это человек, неуверенно просовывающий голову в двери церкви, готовый слиться душой с охваченною там одним чувством толпой, но удерживаемый чем-то извне.

А в той книге были порывы чистого, своеобразно-наивного религиозного чувства...

И вот теперь новая книга — «Уединенное».

Тут уж Розанов не «около церковных стен», а входит в них. И как все, в них входящие, находит успокоение измученной душе своей.

Эта книга — ворох мыслей, приходящих в голову в часы уединения, в часы ночной работы, большей частью мелькающих тенью и исчезающих, а им остановленных и записанных.

Мы не будем останавливаться на разительных блестящих мыслях, на страшных по откровенности характеристиках, мы выхватим только кое-что, определяющее религиозное состояние г. Розанова.

Что скажете вы о такой фразе: «Одному мне лучше, потому что, когда один — я с Богом».

Розанов дошел теперь до этого интимно-трепетного чувства, без которого нет религии: «Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, я теряюсь?»

А это изумительное, простое и ясное объяснение о церкви: *«Тепло только тут! Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хороним тут мамашу, братцев, похоронят меня; будут тут же жениться дети; все тут. Все важное. И вот люди надышали тепла»*.

Уже из сказанного видно, как хорошо — до экстаза — чувствует себя Розанов в церкви; лучше, чем тогда, когда ополчался на церковь.

И как он скрежещет на себя самого той поры: «Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю: была ли у кого печальной судьба».

Не хочется делать много выписок из этой книги, которую можно назвать листками ненависти и любви, чтобы не лишать читателя свежести впечатления.

Но как бы хотелось, чтобы побольше молодежи прочло вот эти, смоченные слезами глубокой жалости, строки:

«Сколько у нас репутаций, если не литературных (литературной — ни одной), то журнальных, обмоченных в юношеской крови. О, если бы юноши когда-нибудь могли поверить, что люди, никогда их не толкавшие в это кровавое дело (террор), любят и уважают их, — бесценную вечную их душу, их теплое и милое “будущее” (целый мир), — больше, чем эти их “наушники”, которым они доверились. Но никогда они этому не поверят! Они думают, что одиноки в мире, покинуты, и что одни остались у них “родные”, это кто им шепчет: “Идите впереди нас, мы уже стары и дрянцо, а вы героичны и благородны”. Никогда этого шепота дьявола не было разобрано...»

* * *

Кроме значения решительного в чувстве и мышлении г. Розанова переворота, обрисованного со свойственной ему своеобразной музыкой души, его новая книга имеет еще другое значение.

Это прижизненный памятник, воздвигнутый потрясенною благодарностью, быть может, спасенною мужскою душою — чистой, доброй и ясной женщине, давшей ему счастье и невидимо, заботливой и мягкой рукой, ведшей его туда, куда он теперь дошел.

В те дни, когда он говорил те, «безумные глаголы», которые теперь проклинаяет, одна сильная духом женщина влекла его в другую сторону, где все — примирение и спокойное ожидание великой разгадки.

И этой душе-благодетельнице и спет теперь прекрасный, трогательный гимн.

О, какая это одухотворенная, цельная, обожающая любовь!

«Я 20 лет шел за нею: и все, что хорошего я делал, или было во мне хорошего за это время — от нее; а что дурное во мне — от меня самого.

Но я был упрям. Только сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее».

Не в том ли верховное счастье, чтобы видеть все новые и новые высокие стороны в любимом человеке? И какая прелестная наивность мысли и чувства:

«Я не помню дня, когда бы не заметил с ней чего-нибудь глубоко поэтического и, видя что или услыша (ухом во время занятий) — внутренне навернется слеза восторга или умиления. И вот отчего я счастлив. И даже от этого хорошо пишу (кажется)».

Да, скажем тут себе, любимая женщина, *когда она хороша*, какие творит чудеса!

Теперь, когда литература огажена напущенными на нас типами беснующихся менад, когда пишут женщин не по русской действительности, а по спросу на живое сальце; теперь, когда в густой тени стоят неизменными среди развала сохранившиеся наши женщины, держащие на своих руках мир русской семьи: именно теперь приспел час, чтобы к возвышенным типам, выведенным былыми русскими писателями, присоединились те же замороженные в нравственной чистоте своей и целости, но современные типы. Чтоб искренний взволнованный голос человека, испытавшего над всею жизнью своею благоухание и свежесть непорочной женской души, сказал в лицо этой женщине горячее, громкое и далеко слышное «спасибо» всем русским женщинам.

Кто из нас не обязан им? Кто из нас не хотел бы сказать тех же о них искренних, простых и благородных слов?

И — признательность человеку, эти слова нашедшему!

Земной поклон вам, русские страдалницы, живые и упокоившиеся...

Как дика и невыносима была бы без вас русская жизнь!

Книга «Уединенное» представляет собой вполне определенную, яркую ступень в религиозной эволюции г. Розанова.

И люди, внимательно и вдумчиво следившие за Розановым его прежней поры, различая даже в брани ту любовь, какой не слышали более грубые уши, знают, что он сдержит свое слово.

«Пусть Бог продлит мне 3–4–5 лет (и “ей”): зажгу я мою “соборованную свечу” и уже не выпущу ее до могилы».

